

**Роберто Боланьо**  
Шлюхи-убийцы

**Roberto Bolaño**  
Putas asesinas

# Роберто Боланьо

## Шлюхи-убийцы

Рассказы

*Перевод с испанского*

Натальи Богомоловой



издательство **астрель**

УДК 821.134.2(83)-32  
ББК 84(7Чил)-4  
Б79

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ

**Боляно, Р.**

Б79 Шлюхи-убийцы : рассказы / РОБЕРТО БОЛЯНО ; пер. с исп. Н. БОГОМОЛОВОЙ. — М.: Астрель : CORPUS, 2011. — 256 с.

ISBN 978-5-271-32287-7 (ООО “Издательство Астрель”)

Чилийский поэт и прозаик Роберто Боляно (1953–2003) прожил всего пятьдесят лет и, хотя начал печататься в сорок, успел опубликовать больше десятка книг и стать лауреатом множества наград, в числе которых очень почетные: испанская “Эрральде” и венесуэльская — имени Ромула Гальегоса, прозванная “латиноамериканским Нобелем”. Большая слава пришла к Боляно после выхода в свет “Диких детективов” (1998), а изданный после его смерти роман “2666” получил премию Саламбо в номинации “Лучший роман на испанском языке”, был признан Книгой года в Португалии, а газета *The New York Times* включила его в десятку главных книг 2008 года. Рассказы, вошедшие в сборник “Шлюхи-убийцы” (2001), Боляно написал, как и большую часть своей прозы, в эмиграции, уехав из Чили после переворота 1973 года сначала в Мексику, а затем в Испанию. Действие происходит в разных городах и странах, где побывал писатель-изгнанник. Сюжеты самые неожиданные — от ностальгических переживаний киллера до африканской магии в футболе или подлинных эпизодов из жизни автора, чей неповторимый мастерский почерк принес ему мировую известность.

УДК 821.134.2(83)-32  
ББК 84(7Чил)-4

ISBN 978-5-271-32287-7 (ООО “Издательство Астрель”)

- © 2001, Roberto Bolano
- All rights reserved
- © Н. Богомолова, перевод на русский язык, 2010
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2010
- © ООО “Издательство Астрель”, 2010
- Издательство CORPUS ®

## Содержание

Маурисио Сильва .....	9
Гомес-Паласио .....	27
Последние сумерки на земле .....	39
Дни 1978 года .....	70
Бродяга во Франции и Бельгии .....	88
Набросок к портрету Лало Куры .....	107
Шлюхи-убийцы .....	127
Возвращение .....	146
Буба .....	166
Дантист .....	197
Фотографии .....	223
Бальная книжка .....	234
Встреча с Энрике Лином .....	246



*Александре Боланьо и Лаутаро Боланьо  
как головокружительный урок*

*Александре Эдвардс и Марсиалю Кортесу-Монрою  
в знак дружбы*

Насмешка часто разрешает важные задачи лучше и сильнее,  
чем строго обличительная речь.

ГОРАЦИЙ



# Маурисио Сильва

*Родриго Пинто, Марии и Андресу Брэйсуэйт*

Все дело в том, что Маурисио Сильва всегда старался избегать насилия, даже рискуя прослыть трусом, но, по правде сказать, насилия, настоящего насилия, избежать нельзя, особенно нам, кто родился в Латинской Америке в пятидесятые годы и кому было около двадцати лет, когда погиб Сальвадор Альенде.

История Маурисио Сильвы очень показательна и типична, поэтому, пожалуй, не лишним будет снова вспомнить ее сейчас, много лет спустя.

В январе 1974 года, через четыре месяца после государственного переворота, Сильва покинул Чили. Сперва он обосновался в Буэнос-Айресе, но затем злые ветры, бушевавшие в Аргентине, погнали его дальше, в Мексику, где он прожил года два и где мы с ним познакомились.

Он был не таким, как большинство чилийцев, живших тогда в мексиканской столице, во всяком случае, не кричал на всех углах о своем участии в сопротивлении, хотя у большинства эта страница биогра-

фии была скорее вымышленной, чем подлинной, и не посещал эмигрантских сборищ.

Мы подружились и встречались, как правило, не реже раза в неделю — в кафе “Тавана” на улице Букарели или у меня дома на улице Версаль, где я жил с матерью и сестрой. Первые месяцы Маурисио Сильва перebивался случайными заработками, потом получил место фотографа в какой-то столичной газете. В какой именно, не помню, может, в “Соль”, если, конечно, в Мехико выходила когда-нибудь газета с таким названием; а может, в “Универсаль”, хотя я предпочел бы, чтобы это была “Насьональ”, ведь там приложением, посвященным культуре, руководил старый испанский поэт Хуан Рехано; но это точно не была “Насьональ”, потому что в ней работал я сам и никогда не сталкивался в редакции с Сильвой. Короче, он служил в некоей мексиканской газете, это наверняка, и его материальное положение улучшилось, хотя поначалу заметить изменения было трудно, ибо Маурисио Сильва жил по-спартански, однако при желании усматривались несомненные признаки относительного благополучия.

Например, в самые первые месяцы он ходил, как я помню, исключительно в футболках, а под конец, в последние месяцы, смог купить себе пару рубашек, и однажды я даже видел его в галстукe, хотя ни я, ни мои друзья-поэты галстуков не признавали. Вернее сказать, единственным человеком в галстукe, появившимся за нашим столиком в кафе “Тавана”, был Сильва.

В ту пору поговаривали, будто Маурисио Сильва гомосексуалист. То есть я хочу сказать, что среди чилийских эмигрантов ходили такие слухи: может, люди просто со зла чесали языками, а может, сплетни помогали скрасить унылую эмигрантскую жизнь левакам,

у которых мозги в этом направлении — от пояса и ниже — работали абсолютно так же, как и у правых, хозяйничавших в Чили после переворота.

Как-то раз Маурисио Сильва обедал у нас дома. Моя мать относилась к нему с симпатией, он отвечал ей тем же и порой фотографировал нас: мать, сестру, какую-нибудь подругу матери и меня. Всем нравится сниматься, сказал он мне однажды. Я-то был к таким вещам равнодушен, по крайней мере считал, что равнодушен, но после слов Сильвы задумался и, поразмыслив, признал его правоту. Фотографироваться не любят разве что индийцы, сказал он. Мать сначала решила, что он имеет в виду индейцев мапуче, но он говорил именно об индийцах, а не об индейцах, индийцах из той самой Индии, которой суждено было сыграть в его жизни такую важную роль.

Однажды вечером я застал Маурисио Сильву в кафе “Тавана”. Посетителей было мало, и он сидел у большого окна, выходящего на улицу Букарели. Сидел и пил кофе с молоком, поданный в стакане, в большом стакане из толстого стекла, какими пользовались в “Таване” и каких я никогда не видел ни в одном другом заведении. Я сел рядом с ним, и у нас завязался разговор. Маурисио Сильва показался мне вдруг прозрачным. Да. Именно такое впечатление у меня сложилось. Маурисио Сильва показался мне стеклянным, словно его лицо и стакан с кофе как-то между собой перекликались, словно они внезапно обрели друг друга — два непостижимых явления в огромном мире — и пытались изо всех сил, хотя и без надежды на успех, найти общий язык.

В тот вечер он признался мне, что и на самом деле гей, подтвердив тем самым слухи, и сообщил о своем

решении уехать из Мексики. Я подумал было, что он потому и уезжает. Но нет, просто некий приятель помог ему устроиться в парижское фотоагентство, о чем Сильва давно мечтал. Сейчас же он хотел выговориться, и я его слушал. Он сказал, что вот уже несколько лет тщательно скрывает — угрызения совести? осмортительность? — свои наклонности, и в первую очередь потому, что причисляет себя к левым, а в тех кругах с явным предубеждением относятся к гомосексуалистам. Мы с ним потолковали о слове “извращенец” (теперь, кстати, его в этом смысле употреблять почти перестали), которое сразу вызывало в воображении тоскливые пейзажи.

Помню, под конец мы прошлись по поводу наших чилийских леваков, и я вдруг поднял тост за “чилийских борцов-скитальцев”, которые составляют многочисленную фракцию среди “латиноамериканских борцов-скитальцев”, этой армии бесприютных сирот, блуждающих по бескрайнему миру, предлагая свои услуги тому, кто больше заплатит, хотя на деле оказывается, что выбирают они вечно того, кто платит меньше всех. Мы посмеялись, и Сильва сказал, что насилие — не для него. Ты — другое дело, произнес он с грустью, которой я тогда не понял. Но не для меня. Я ненавижу насилие. В ответ я заявил, что чувствую то же самое. Потом мы переменили тему, потолковали о книгах, о фильмах... И больше я его не видел.

В один прекрасный день я узнал, что Маурисио Сильва уехал из Мексики. Новость мне сообщил его старый приятель, с которым они вместе работали в газете. Меня, впрочем, ничуть не удивило, что он исчез не попрощавшись. Сильва никогда ни с кем не прощался. Я и сам никогда ни с кем не прощался. И наши

мексиканские друзья никогда ни с кем не прощались. А вот моя мать сочла, что это проявление невоспитанности.

Года через два или три я тоже покинул Мексику. Поселился в Париже и попытался его там разыскать (честно признаюсь, не слишком настойчиво), но не нашел. Со временем я даже стал забывать его лицо, хотя в памяти намертво отпечатались его повадка, манера приближаться к тебе и особая манера речи, словно он обращается к тебе с какого-то расстояния и из какой-то сокровенной печали, которая была неотделима от Маурисио Сильвы, того Маурисио Сильвы, что уже утратил лицо — или лицо ему заменяли тени, — хотя я по-прежнему не расставался с главным, с памятью об его повадке, то есть с чем-то совершенно абстрактным, хотя и несовместимым с понятием покоя.

Прошли годы. Много лет. Кое-кто из наших друзей умер. Я женился, у меня родился сын, я напечатал несколько книг.

Однажды мне довелось побывать в Берлине. Накануне отъезда я ужинал с Генрихом фон Беренбергом и его семьей, потом сел в такси (хотя до того Генрих всякий раз сам отвозил меня по вечерам в гостиницу). Я попросил таксиста остановиться чуть пораньше, потому что хотел пройтись пешком. Таксист (немолодой азиат, слушавший Бетховена) высадил меня кварталов за пять до отеля. Было еще не поздно, однако улицы казались пустынными. Я шагал через площадь. На скамейке сидел Сильва. Правда, я узнал его только после того, как он заговорил со мной. Он окликнул меня по имени, а потом спросил, как дела. Я обернулся и смотрел на него в недоумении. Сильва продолжал сидеть на скамейке, и его глаза изучали меня, потом он устал-

ся в землю или огляделся по сторонам, потом принялся рассматривать огромные деревья, росшие на этой маленькой берлинской площади, и тени, его почему-то укрывавшие плотнее, чем меня. Я сделал несколько шагов в сторону скамейки и спросил, кто он такой. Это я, Маурисио Сильва, ответил он. Маурисио Сильва из Чили? — спросил я. Он кивнул, и только тут я заметил, что он улыбается.

В ту ночь мы проговорили чуть ли не до рассвета. Сильва уже несколько лет жил в Берлине и отлично знал, какие бары открыты всю ночь. Я расспрашивал о его житье-бытье. Он, не вдаваясь в подробности, сообщил, что стал фотографом *free lancer*. У него было жилье в Париже, Милане, а теперь вот есть и в Берлине, скромные обиталища, где он хранит книги и куда не так часто заглядывает. Мы зашли в первый бар, и только тут я понял, как он изменился. Сильно похудел, в волосах проглядывала седина, лицо избороздили морщины. Еще я отметил про себя, что он стал пить куда больше, чем в Мексике. Маурисио Сильва захотел узнать что-нибудь и обо мне. Наша встреча, разумеется, не была случайной. Мое имя промелькнуло в газетах, оно попало Сильве на глаза — или кто-то из соотечественников сообщил ему, что некий чилиец приехал в Берлин то ли прочесть лекцию, то ли пообщаться с читателями. На мое выступление он не попал, зато позволил организаторам и получил адрес гостиницы, где я остановился. Когда я его увидел на площади, он, по его словам, коротал там время и размышлял о том о сем в ожидании моего появления.

Я засмеялся. Какая удача, подумалось мне, мы снова встретились. Маурисио Сильва оставался таким же странным, странным, но вполне простым в общении

человеком, который никому не навязывает своего общества, человеком, которому в любой миг затянувшихся посиделок можно сказать “пока”, и он в ответ просто скажет тебе “пока”, без обиды, без упрека, то есть он был в своем роде идеальным чилийцем, невозмутимым и приветливым, — хотя тип этот не слишком часто встретишь и в Чили, но только там водятся такие люди.

Перечитываю эти слова и вижу, что грешу против истины. Маурисио Сильва никогда не позволил бы себе подобных обобщений. В любом случае, пока мы бродили из бара в бар и сидели перед стаканом виски или кружкой безалкогольного пива, беседа вертелась вокруг отрывочных воспоминаний, и поэтому диалог наш был скучноватым. Интерес пробудился во мне, лишь когда Маурисио Сильва провожал меня около двух часов ночи в гостиницу, но это был, собственно, уже не диалог, а монолог.

По воле случая Маурисио Сильва вновь заговорил (вернее, его буквально прорвало), пока мы пересекали все ту же площадь, где несколькими часами раньше встретились. Помню, было холодно, и вдруг я услышал, как Сильва говорит, что ему очень хотелось бы рассказать мне кое-что, чего он никогда никому не рассказывал. Я взглянул на него. Сильва не отрывал глаз от выложенной плитам дорожки, вившейся через площадь. Я спросил, о чем это он. Об одном моем путешествии, ответил он быстро. Там что-то случилось? — спросил я. Тут Сильва остановился и несколько минут стоял, словно смысл его существования свелся к созерцанию крон высоких немецких деревьев, кусочков неба и облаков, беззвучно плывших над деревьями.

Да, случилось нечто ужасное, сказал Сильва. Помнишь наш разговор, тот, последний, в “Гаване” — перед

моим отъездом из Мексики? Да, ответил я. Помнишь, я еще признался тебе, что гей? — спросил Сильва. Да, помню, ответил я. Давай сядем, предложил Сильва.

Готов поклясться, что сел он на ту же скамейку, и все было так, словно я еще не пришел туда, еще не шагнул на площадь, а он ждал меня и раздумывал над своей жизнью и над историей, которую теперь судьба или случай заставляли его поведать мне. Он поднял воротник пальто и заговорил. Я закурил и продолжал стоять. Эта история случилась в Индии. Туда его привело не любопытство туриста, а работа, он поехал, чтобы выполнить два заказа. Во-первых, сделать фоторепортаж об индийском городе в привычном ключе, нечто среднее между Маргерит Дюрас и Германом Гессе. Мы с Сильвой обменялись понимающими улыбками. Ведь существуют люди, сказал он, которым хочется увидеть именно такую Индию — помесь “Песни Индии” Дюрас и “Сиддхартхи” Гессе. Приходится подлаживаться под вкусы издателей. Поэтому для первого репортажа он снимал колониальные особняки, полуодичавшие сады, рестораны, преимущественно самого низкого пошиба, или семейные ресторанчики, которые выглядели низкопробными, хотя на самом деле это были типично индийские заведения, а еще — предместья, по-настоящему нищие окраины, а еще — поля, дороги, шоссе, железнодорожные узлы, автобусы и поезда, которые везут людей в город и из города, а еще — природу в состоянии полудремы, спячки, ничем не похожей на западную спячку, а еще — деревья, не похожие на европейские, реки и ручейки, поля засеянные и поля сухие, землю святых, сказал Сильва.

Второй репортаж — о районе красных фонарей в одном из городов Индии, имени которого мне не суждено узнать.

Тут-то, собственно, и начиналась история Сильвы. Тогда он еще жил в Париже, и его фотографиям предстояло сопровождать текст известного французского автора, который специализировался на описаниях городского дна и жизни проституток. Репортаж должен был стать первым в серии, посвященной миру проституции и районам красных фонарей в разных странах, при этом каждый новый сюжет предстояло отснять новому фотографу, тексты же взялся писать все тот же автор.

Не знаю, в какой город приехал Маурисио Сильва, может, в Бомбей или Калькутту, а может, в Бенарес или Мадрас, помню только, что я задал ему этот вопрос, но он его пропустил мимо ушей. Важно, что Сильва приехал в Индию один, потому что французский писатель уже изготовил свою хронику, а Сильве оставалось ее проиллюстрировать. Он отправился в районы, упомянутые в тексте, и взялся за дело. По его прикидкам — и по прикидкам издателей — он мог управиться за неделю, а значит, и на пребывание в Индии ему отводилось не больше недели. Он поселился в гостинице, расположенной в тихом районе, в номере с кондиционером, с окном, выходящим в гостиничный двор, где росли два дерева, а между ними бил фонтан, туда же выходила терраса, и порой на ней появлялись две женщины с детьми, правда, случалось, дети выбегали и раньше, одни. Женщины были одеты в индийские одежды, во всяком случае, Сильва считал эти одежды индийскими, а вот детей он однажды увидел даже в галстучках. Вечерами Сильва направлялся в злачные районы, фотографировал и болтал с проститутками, иногда совсем-совсем юными и очень красивыми, иногда чуть постарше или уже поблекшими, похожими на недоверчивых и не склонных к откровениям матрон. Запах, который пона-

чалу его раздражал, под конец ему понравился. Сутенеры (их попадалось немного) держались любезно и старались вести себя на манер западных сутенеров, а может, это и были западные сутенеры (так пригрезилось Сильве потом, в гостиничном номере с кондиционером), перенявшие повадку индийских.

Как-то раз они предложили ему воспользоваться услугами одной из девушек. Маурисио вежливо отказался. Сутенер тотчас понял, что Сильва гомосексуалист, и на следующий вечер повел его в бордель с мальчиками. В ту ночь пришла к Маурисио Сильве болезнь. Я уже рос в Индии, но сам того не осознал, сказал он, всматриваясь в тени берлинского парка. И что произошло в борделе? — спросил я. Ничего. Я смотрел и улыбался. Ничего не произошло. Тогда одному из юношей пришлось в голову, что, наверное, гостю понравилось бы заведение особого рода. Так решил Сильва, потому что говорили они между собой не по-английски. Они вышли из того дома и двинулись по узким и грязным улочкам, пока не оказались перед небольшим с виду зданием, но внутри им открылся лабиринт коридоров, крошечных комнат и темных углов, из которых вдруг выступали то алтарь, то молешня.

В некоторых частях Индии, сказал Сильва, глядя в землю, существует обычай приносить мальчика в дар божеству, чьего имени я не запомнил. Тут я имел неосторожность заметить ему, что он не помнит не только имени божества, но и названия города, а также имени хотя бы одного из тех, кто замешан в этой истории. Сильва глянул на меня и улыбнулся. Я стараюсь забыть их, сказал он.

И тут я подумал, что далее последует что-то очень страшное, и сел рядом с Сильвой. Так мы какое-то вре-

мя и сидели — подняв воротники пальто, в полном молчании. Они приносят мальчика в дар божеству, вновь заговорил Сильва, вглядываясь в заполненную тенями площадь и словно опасаясь, что за нами кто-то следит, — и на некоторое время ребенок становится воплощением бога. Может, на неделю, пока длятся ритуальные празднества, может, на месяц, на год, не знаю. Это варварский ритуал, запрещенный законом индийской республики, но он продолжает существовать. Ребенка осыпают подарками, родители принимают их с радостью и благодарностью, потому что они, как правило, бедны. После окончания празднеств мальчика возвращают домой, или в ту грязную щель, что служит им домом, и через год все повторяется снова.

Праздник чем-то напоминает latinoамериканские ярмарки, но он, пожалуй, веселее, шумнее, и, кажется, его участники — или те, кто осознают себя его участниками, — видят в нем куда более глубокий смысл. Есть и важное отличие. Мальчика за несколько дней до начала церемонии кастрируют. Богу, который в дни праздника будет в нем воплощен, требуется мужское тело — хотя эти мальчики обычно не бывают старше семи лет, — но без позорных мужских атрибутов. Иначе говоря, родители отдают ребенка врачам, или цирюльникам, или жрецам, и те оскопляют его, когда же он приходит в себя после операции, начинаются ритуальные торжества. Несколько недель или месяцев спустя он возвращается домой, кастрированный, и родителям такой сын уже не нужен. Мальчик попадает в бордель. Бордели бывают разными, со вздохом добавил Сильва, но меня в тот вечер пригласили в самый худший из всех.

Мы помолчали. Я закурил. Потом Сильва принял-ся описывать бордель, и казалось, он описывает цер-

ковь. Крытые внутренние дворики. Открытые галереи. Кельи, откуда невидимые тебе люди подглядывают за каждым твоим шагом. Сильве привели маленького кастрата, которому, судя по всему, не исполнилось и десяти лет. Он был похож на испуганную девочку, сказал Сильва. Испуганную и насмешливую — *одновременно*. Представляешь? Пытаюсь представить, ответил я. Мы опять помолчали. И когда ко мне наконец вернулся дар речи, я сказал, что нет, что ничего подобного я представить себе не в силах. Я тоже, бросил Сильва. Никто не способен такое представить. Ни жертва, ни палачи, ни зрители. Передать такое способна только фотография.

Ты сфотографировал его? — спросил я. Мне почудилось, будто Сильва вздрогнул. Я достал фотоаппарат и сфотографировал его, сказал он. Я понимал, что обрекаю себя на вечные муки, но сделал это.

Не знаю, сколько времени мы промолчали. Помню только, что было холодно — и в какой-то миг меня начал бить озноб. Я слышал, как сидевший рядом Сильва пару раз всхлипнул, но избегал на него смотреть. Я заметил фары машины, проезжавшей по одной из боковых улиц. И еще я заметил сквозь листву, как зажглось одинокое окно.

Потом Сильва снова заговорил. Сказал, что ребенок улыбнулся ему, а затем тихо удалился по какому-то коридору этого немыслимого дома. Тогда сутенер намекнул, что, если Сильве здесь не понравилось, им пора уходить. Сильва уходить не хотел. Он не мог уйти. Он сказал себе: пока еще я не могу уйти. Это было правдой, хотя он и сам не понимал, что именно мешало ему навсегда покинуть заведение. Однако спутник вроде бы понял его и велел принести им чаю или какой-то напиток, похожий на чай. По воспоминаниям

Сильвы, они сели на пол — то ли на циновки, то ли на старые вытертые коврики. Весь свет шел от пары свечей. На стене висел постер с изображением божества. Некоторое время Сильва смотрел на бога и поначалу чувствовал ужас, но затем его охватило чувство, близкое к ярости, может, даже ненависть.

Мне никогда не случалось кого-нибудь ненавидеть, сказал он, закуривая и наблюдая, как первое облачко дыма тает в берлинском небе.

Пока Сильва смотрел на божество, его спутники незаметно исчезли. С ним остался только похожий на проститутку юноша лет двадцати, изъяснявшийся по-английски. Он несколько раз хлопнул в ладоши, и вновь появился мальчик. Я плакал — или мне только казалось, будто я плачу, или этому жалкому юноше-проститутке казалось, будто я плачу. Хотя нет, ничего подобного не было. Я старался сохранять на лице улыбку (на лице, которое мне уже не принадлежало, на лице, которое удалялось от меня, как гонимый ветром лист), но в голове моей зарождалось нечто. Не план и не расплывчатый способ мести — а сгусток воли.

Вскоре Маурисио Сильва, юноша-проститутка и ребенок двинулись по плохо освещенному коридору, потом по другому, освещенному хуже первого (по одну сторону от Сильвы шел мальчик, глядевший на него с улыбкой, по другую — юноша-проститутка, который тоже ему улыбался, а Сильва кивал им и щедро совал в руки монеты и купюры), пока они не очутились в комнате, где дремал врач, а рядом с ним дремал ребенок, у которого кожа была темнее, чем у мальчика-кастра-та, и он был младше того, всего лет шести-семи. Там Сильва услышал объяснения врача, или цирюльника, или жреца, объяснения многословные, в которых упо-

минались традиция, народные праздники, преимущества, причастность, экстаз и святость; и ему позволили взглянуть на хирургические инструменты, с помощью которых будут кастрировать мальчика — этим же утром или следующим. Во всяком случае, ребенка, как я смог понять, сказал Сильва, минувшим днем уже вошли в храм или в бордель, что является подготовительным этапом, своего рода гигиенической мерой, и мальчик хорошо пообедал, словно уже воплощал в себе бога, хотя Маурисио видел перед собой плачущего ребенка, полуспящего и полубодрящего, и еще он поймал полулюбопытный и полуиспуганный взгляд мальчика-кастрата, не отходившего от него ни на шаг. И тут Маурисио Сильва превратился в нечто иное, хотя сам употребил не слова “нечто иное”, а слово “мать”.

Он произнес слово “мать” и вздохнул. Наконец. Мать.

То, что произошло потом, старо как мир и потому выглядит вполне тривиально: свершилось насилие, то самое насилие, которого никому из нас не дано избежать. Такова судьба латиноамериканцев, родившихся в пятидесятые годы. Разумеется, сперва Сильва без малейшей надежды на успех попытался договориться, испробовал подкуп, угрозы. Наверняка можно утверждать одно: насилие свершилось, и вскоре позади остались улицы того района — словно он видел сон, и во сне пот лил с него ручьями. Ему живо вспоминается испытанное тогда возбуждение — оно росло у него в душе, становилось все сильнее, — некая радость, подозрительно похожая на что-то вроде озарения, но которая не была (не могла быть) озарением. И еще: тень, что отбрасывало его тело, и тени двух детей, которых он, держа за руки, вел меж облупленных стен. В любом

другом месте он непременно привлёк бы к себе чье-то внимание. Но там и в такой час никому не было до него дела.

Остальное — это уже не столько история или сюжет, сколько маршрут. Маурисио Сильва вернулся в гостиницу, покидал вещи в чемодан и умчался вместе с детьми. Сначала они ехали на такси в какую-то деревню или пригородный поселок. Оттуда на автобусе — в другую деревню, где пересели на другой автобус, и тот привез их в другую деревню. На каком-то этапе своего бегства они сели в поезд и ехали всю ночь и часть дня. Маурисио вспоминал, с какими лицами дети глядели в окно — на пейзаж, который утренний свет раздирал на лоскутья, и казалось, будто реально только то, что предстает их взорам, — величественные и непритязательные картины в раме окна того таинственного поезда.

Потом они сели в другой автобус, потом в такси, потом в другой автобус, в другой поезд. А потом мы ехали автостопом, рассказывал Маурисио Сильва, глядя на силуэты берлинских деревьев, хотя на самом деле видел силуэты совсем иных деревьев, безымянных, немислимых, пока наконец не остановились в неведомой деревне в неведомой части Индии, сняли там дом и отдохнули.

Через месяц у Сильвы кончились деньги, и он пешком отправился в соседнюю деревню, откуда послал письмо другу, жившему в Париже. Через две недели он получил чек, и пришлось идти в деревню побольше, чтобы получить по нему деньги, потому что ни в той деревне, откуда он послал письмо, ни там, где они осели, сделать это было невозможно. Детям жилось хорошо. Они играли с местными мальчишками, школу не посещали и время от времени приносили домой

еду — овощи, подаренные соседями. Они не называли Сильву отцом, как он просил — из предосторожности в первую очередь, дабы не будоражить чужое любопытство, а звали его, как и мы, Маурисио. Тем не менее жителям деревни Сильва говорил, что это его сыновья. Он придумал, будто их мать, индианка, недавно умерла и он не пожелал возвращаться в Европу. История звучала вполне правдиво. Однако в кошмарных снах Сильве виделось, будто среди ночи в дом врываются индийские полицейские, чтобы арестовать его, и обвиняют в гнусных злодеяниях. Обычно он просыпался трепеща от страха. Тогда он подходил к циновкам, на которых спали дети, и картина эта давала ему силы — чтобы жить дальше, чтобы спать, чтобы подняться утром.

Он стал обрабатывать землю. Завел маленький огород, а иногда нанимался к богатым крестьянам из той деревни. Богатые крестьяне, конечно же, на самом деле были бедны, но не так бедны, как остальные. В свободное время Маурисио обучал детей английскому, арифметике или наблюдал за их играми. Между собой дети разговаривали на непонятном ему языке. Порой он замечал, как они прерывают игру и шагают по полю, словно ни с того ни с сего превратившись в сомнамбул. Он громко окликал их. Иногда дети притворялись, будто не слышат, и шли дальше, пока не исчезали из виду. Иногда они оборачивались и улыбались ему.

Сколько же времени ты прожил в Индии? — тревожно спросил я.

Полтора года, сказал Маурисио, хотя, если честно, я и сам не знал сколько.

Как-то раз в деревню нагрянул его парижский друг. Он все еще любил меня, сказал Сильва, хотя в мое

отсутствие стал жить с алжирцем, механиком с завода Рено. Тут Сильва засмеялся. Я тоже засмеялся. Все было так грустно, сказал Сильва. Друг, который приехал в деревню на такси, покрытом рыжеватой пылью, дети, которые гонялись за какими-то насекомыми в зарослях сухого кустарника, ветер, который, казалось, приносит хорошие и дурные вести.

Несмотря на мольбы француза, Маурисио Сильва не вернулся в Париж. И через несколько месяцев получил от друга письмо, где тот сообщал, что индийские полицейские и не думают его разыскивать. По всей видимости, люди из борделя никаких заявлений писать не стали. Но и после получения этого известия Сильву по-прежнему преследовали кошмары, изменился лишь облик мучителей: теперь его арестовывали и осыпали оскорблениями не полицейские, а сыщики из секты, поклоняющейся богу-кастрату. Конец сна был еще ужасней, чем прежде, признался мне Маурисио Сильва, но я уже привык к кошмарам, по крайней мере, почему-то всегда знал, что нахожусь внутри сновидения, что это не реальность.

Потом в деревню пришла болезнь, и дети умерли. Я тоже хотел умереть, сказал Сильва, но мне не повезло.

Оправившись от недуга в своей хижине, которую день за днем безжалостно разрушали дожди, он покинул деревню и вернулся в город, где когда-то нашел детей. С тупым изумлением он обнаружил, что уехали они не так далеко, как казалось, просто бежали по спирали, поэтому обратный путь получился относительно коротким. Очутившись в городе, Маурисио Сильва тотчас отправился в бордель, в котором оскотпляли детей. Бордель превратился в жилой дом, и там ютилось множество семей. В коридорах, которые ему запомни-

лись пустынными и мрачными, теперь копошились детишки, едва умеющие ходить, и старики, ходить уже не способные и поэтому тоже ползавшие. Маурисио Сильве почудилось, что перед ним рай.

Вечером, вернувшись в гостиницу, он без остановки плакал, он оплакивал своих умерших детей, и оскотеленных детей, которых не знал, и свою погубленную молодость, и всех молодых людей, которые уже перестали быть молодыми, и молодых людей, которые умерли молодыми, и всех тех, кто сражался за Сальвадора Альенде, и тех, кто побоялся сражаться за Сальвадора Альенде; Маурисио Сильва позвонил другу-французу, теперь жившему с болгариним, бывшим гиревиком, и попросил прислать билет на самолет и немного денег, чтобы расплатиться за номер.

Друг-француз ответил, что конечно, разумеется, он вышлет билет и деньги немедленно, и еще он спросил, а что это там за звуки? Ты плачешь? — и Маурисио Сильва ответил, что да, он никак не может унять слезы и не понимает, что с ним такое, — он плачет уже много часов подряд. Успокойся, попросил друг-француз. И Маурисио рассмеялся, не переставая плакать, и сказал, что постарается, и повесил трубку. А потом продолжал плакать без остановки.